



В. В. РОЗАНОВ

И. В. Киреевский и Герцен

**К выходу 2-го издания Полного собрания сочинений
И. В. Киреевского, в редакции М. Гершензона. 2 тома**

Ну вот, наконец, и *лицо* человека, о котором приходилось столько думать и которого любил уже давно — Ивана Васильевича Киреевского, в превосходном новом издании его сочинений, сделанном М. Гершензоном...

В очках, должно быть, с круглыми стеклами и неуклюжих, в высоком воротнике сорочки, в более чем старомодном полукафтани, полусюртуке, с остриженными волосами, сидит «наш друг Иван Васильевич» в большом и удобном старинном кресле. Одна рука заложена за борт сюртука, другая не столько опирается на ручку кресла, сколько сжимает ее. Лицо поставлено прямо, упорно; подбородок чуть-чуть выдается вперед; над глазами большие надбровные дуги; череп — скорее коробочкой, без округлости, без шаровидности, как у «обыкновенных русских». Нет, — это лицо и голова вовсе не «необыкновенно русские»...

Взгляд пристальный. Губы маленького, красивого (хочется сказать — «хорошенького») рта сжаты. Все выражение — презрительное, негодующее. Но он молчит. Слушает и презирает говорящего.

И вот я дорисовываю в воображении: *vis-a-vis* сидит Герцен, с его широким русским лицом, добрым, мягким, с сочными полными губами, — и изливается в потоках речей,

оспаривая «нашего Ивана Васильевича». Соловей сам себя заслужался. Талант весь масляный. Так и блестит:

Как некий чародей
Отселе править миром я могу...

— говорит у Пушкина миллионер-рыцарь, перед открытыми сундуками с сверкающим золотом. У Герцена «золото» было в его талантах, в его уже, наверное, округлой, шарообразной голове, «истинно — русской».

Что недоступно мне?..

мог спросить о себе, опять словами богатыря-рыцаря, Герцен; что не поддается очарованию моего слова, очарованию моей мысли... и... и будущего «полного собрания сочинений». Герцен был прирожденный сочинитель; сидевший против него и все молчавший Киреевский был явно не сочинитель.

Он презирал, молчал, негодовал и не мог ничего возразить «тоже нашему» Александру Ивановичу. Слова никак не лезли из маленького и изящного рта, немного девичьего. Александр Иванович счел это за явную победу и, еще шире распустив крылья, как орел несся над пространствами всемирной мысли, то позитивной, и идеалистической, цитировал то Шеллинга и апостола Павла, и все связывал золотым шнуром своей мысли, хочется сказать — колючею военной проволокой, но сделанною из чистейшего золота его остроумия, его гибкости, его прыткости. Считая противника совершенно побежденным (потому что тот все молчал), он по своей русской доброте, теперь уже оказывал ему покровительство, кое-что небрежно припомнив из его давних полуслов, — соглашался с этими полусловами, уступал из своего, отказывался. Богачу отчего не отказаться. А Герцен каждую минуту чувствовал, каждую секунду чувствовал: «Как я богат! Нет, как я несчетно одарен... сравнительно с этим моим бедным другом, так ошестинившимся, и бессильно ошестинившимся, в ворота своей рубахи и плохо сшитого кафтана».

Наконец Киреевский буркнул:

— Вы нескромны!!

Герцен ответил: «Что такое? ничего не понимаю! «Не скромны», «immodeste»*... что такое говорит этот чудак, этот еж, этот крот?.. «Нескромнен»: я ему говорю о падении Рима и апостоле Павле, проповедывавшем на его площадях, цитирую и верно цитирую Volney'я: он мне говорит, что я «нескромнен»...

— Нескромны, и все это очень глупо, и «Апостол Павел», и «Рим», и ненужный вам «Волней». Вы нескромны, наглы и легкомысленны. Вам кажется, что вы ужасно даровиты, а на самом деле вы глубоко бездарны, и золота-то в вас нет, а только позолота... или, точнее, вы весь осыпаны бриллиантовой пылью и сверкаете как солнце, но настоящего-то *теплого солнышка* в вас нет ни единого луча. И все к вам побегут, но из вас ничего не вырастет.

— Вы говорите, как Валаамова ослица, извините...

— И договарю... И умрете вы холодной смертью, без настоящего *друга* около себя, без *родного человека*, измученный, раздраженный, разочарованный... Умрете холодной ледяшкой где-нибудь *не на родине*... Но есть свои законы у холодного солнца, у искусственного солнца, вот из бриллиантовой пыли: в то время, как вы будете так холодно и ненужно умирать, вдали от этого места будет шуметь ваше *имя*, шуметь *ваша слава*... «Полному собранию сочинений» будет очень хорошо: только *вам-то* будет очень плохо...

— Это голос Кореиши, юродивого...¹

— И Кореиша договорит: просто этого ничего не нужно, ни «вас», ни вашего «полного собрания сочинений». Ветер, даль и пустота...

— Что же нужно?

— Молчание!

— Молчание? талант бездарных?

— Талант даровитого. Молча светит солнце. Молча созревает плод. Молча кормит корень. Вся *природа* молчалива, все в природе молчаливо. Гром и ветер — исключения, и ведь это не Бог весть что. Чем больше молчания, тем больше «делается». «Чего» делается? Всего, всех бесчисленных вещей, которые созидаются в природе, «ткуются на ее вечном

* Нескромно (*фр.*).

станке», как выразился Гёте². Молчание — добродетель, а разговоры... могут быть просто «болтовней». Вы в самом деле *нескромны* — и удивились и не поняли, когда я вам заметил это. Между тем настоящий *ум* начинается со *скромности*, т. е. с некоторого плача о себе и своих силах, о своем бессилии; и, пропорционально этому, с *внимания* к окружающему, с желания учиться из окружающего. Вы, Александр Иванович, такой говорун, что, очевидно, никогда ничему не будете учиться серьезно. При вашем блеске вам кажется, что у вас «от рождения все науки в голове сидят». Но они, конечно, там не «сидят», и вы во всем и на всю жизнь останетесь *дилетантом*... При таланте, вот таком огромном, как у вас, или, точнее, при такой бездне мелких талантов, какую обладаете вы, — дилетантство с полбеды: но за вами в дилетантизм потянутся и бездарные, и тогда нашей России будет совсем плохо. Долго, долго не придет к нам *настоящей науки*... Ценна ли *настоящая наука*, вы об этом если и не знаете, то догадываетесь: ну, вот эта *настоящая наука* никак не может зародиться иначе как в *глубоком безмолвии*, почти в немом человеке. Науке положил начало тот, кто хотел говорить и не мог говорить; я думаю — немой и даже глухой. Но зато утроенно зрячий, с телескопами вместо глаз... Наука, как и всё лучшее, рождается из добродетели: я недаром заговорил о вашей нескромности, перейдя от нее к порицанию в вас всего, к уникальному порицанию, к универсальному отрицанию. Теперь я начну универсальную *хвалу*, и начну ее с хвалы *святому*. Если вы растерялись перед словом «скромность», то тут вы уже совсем ничего не поймете. Но ничего. Я буду говорить перед вами как перед тумбой. Буду говорить мало понятным бормотаньем как бы среди глухих. Начало мира... начало мышления... начало самого человека коренится в *святом*: оно редко, невидимо, не мечется в глаза, а скорее хоронится от глаз, но в нем-то и лежит *корень* всего мира... И пока мир держится именно *на этом корне* и не пожелает получить в основу себя другого корня, — он останется жив, цел и вечен. Святое есть непорочное; святое есть полная правда; святое — оно всегда прямо. Я не умею иначе выразить, как сказав, что святое есть настоящее. «*Настоящий человек...*», «*настоящее золото...*», «*настоящая*

дружба»: вы понимаете эти термины. Мир состоит из «настоящих вещей» и из *подражаний* «настоящим вещам...». И вторых очень много, а первых очень немного, вот как золота... Мы подошли вплотную к лицу вещей: вот и талант ваш — не настоящий, и кто пойдет за вами — не настоящие люди, и во всем движении вашем не будет настоящего. содержания. Но выйдем из кабинета этого и пойдем за околицу нашей деревни: вот куда, где мой брат, Петр Васильевич, собирал народные песни и собрал их несколько томов: это есть *мир настоящего*, глухой, темный, суровый, незнаемый. *Народное море, народная совесть, народная нужда, народная дума*. Наши с вами разговоры пройдут, и «Вольней» вам в самом деле не нужен, как и «Апостол Павел среди Рима» есть только словесное украшение великолепной вашей речи. И потому, что все это — «не настоящее». Но вот в этом «народном море» последняя крупца сыграет свою роль; займет умы настоящей науки, не чета моей голове и не чета вашей голове, и взволнует настоящим волнением совесть более глубокую, чем «у нас с вами». Безотчетно это море и именует себя «Святая Русь»³. Но и эта «Святая Русь» сейчас же хрустнула бы во всем своем достоинстве, если бы она была самодовольна, самовлюбленна, вот как мы с вами; если бы она не была полна слез о себе, сознания своего убожества и своей немощи. Так что есть *ярусы* «святого»: «святое» в «святом» и «святое» под «святым». Как и в «истине» есть тоже сложность, углубления и высоты. Самоуверенная и самомненная демократия есть такое же жалкое и скоропроходящее явление, как и ваш блестящий талант или блески вашего таланта; народ «свят» *отраженною святостью* другого высшего, что уже не есть этнографическая масса, а вечные абсолюты, над всеми народами стоящие; вечные звезды в истории. Ну... это совесть, это Бог. Выйдя сюда, мы уже выйдем за грани Руси. Сюда я не уйду. Но я остаюсь и останусь с Русью; и тогда, как вы умрете, наверное, где-нибудь вне Руси и холодно, озябши, — я непременно умру в Руси; и хоть шума вокруг меня не будет, но зато будет немножко того тепла, без которого жить невозможно и страшно даже умереть без него. Моя дорога уныла: но она светло кончится; ваша дорога светла: но она уныло кончится.

* * *

Труды Киреевского вязнут в зубах... За пятьдесят лет — два издания! И то какие: не народные, не дешевенькие, а великолепные большие издания для ученых и библиотек. Нет, это не о них сказал Некрасов великолепный стих:

Студент не будет посыпать
Ее листов золой табачной...⁴

Эта проклятая «зола» так западает к самому корешку... И сберегая новенькую книгу, ее ни ногтем не выковырнешь, не выдуешь ртом. «Знакомые истории»...

Девушка в девятнадцать лет
Не замечается над нею,
О ней не будут рассуждать,
Ни дилетант, ни критик мрачный...

Да, чтобы переиздать или даже чтобы хоть внимательно перечитать эти старые тетради и книжки, надо родиться какому-нибудь специалисту «Гершензону», пройти весь неизмеримый, весь бесконечный путь от «Талмуда» до «славянофильства», и тогда он найдет в полузабытом, почти забытом писателе какие-то слова жизни и понимания, каких не нашел нигде еще в русской литературе...

Вот чего никак нельзя представить себе: чтобы человек очень старой культуры, неся ее в крови наследственно или в сознании усвоенно, культуры этих «Вавилонских оттенков» или оттенков «римских», «греческих», — стал вчитываться и наконец взялся переиздать Герцена, с учеными примечаниями, с кропотливостью над каждой строкой. «Будто Священное Писание»...

Вот этого духа «священства», — священства в *самом происхождении*, не лежит ни на одной странице и ни на одной строке Герцена. Корейша-Киреевский в самом деле набормотал когда-то правду: что все сочинения Александра Ивановича не «из добродетели», — тогда как его, Корейши, сочинения текут в самом деле «из добродетели». Смешно, смеешься до упаду, а потом перестаешь смеяться и думаешь: «Это в самом деле серьезно». Дело в том, что, не будь у Александра Ивановича такое «легкое перо», он никаких «сочинений» не

писал бы, а или проигрался бы в Монако (если только Монако тогда было), или был бы убит на дуэли, или сделался бы генерал-губернатором, командиром корпуса или первым секретарем при русском поселе в Лондоне. Что-нибудь в этом роде... Смиранный же Иван Васильевич, «такой Корейша», нигде бы не перелез из своей симбирской деревеньки или из каменного дома на «Собачьей площади» (в Москве), где вот они спорили с Герценом: и если бы не пером, то хоть долотом на каменных столбах уж записал бы, т. е. вырезал бы, свои знаменитые мысли... До того не интересные студенту и 19-летней девице... Т. е. Киреевский был подлинно «священный писатель», и его «кой-какие сочиненьица» суть тем не менее подлинное «священное писанье» в нашей русской литературе... Написанные в том настроении, о котором Лермонтов сказал:

В небесах торжественно и чудно,
Спит земля в сияньи голубом...
Отчего же мне так больно и так трудно?..

Стих Некрасова о студенте, «посыпающем золою» и т. д., и этот другой стих о пустынноике, вышедшем одиноко на дорогу, можно сопоставить. Две сладости: реальная, земная; и другая — какая-то явно не земная, грустная, одинокая, отвергнутая... Но тем пуще сладкая, сладчайшая.

Одна сладость пала на Герцена. Другую выбрал себе Киреевский.

Он и за ним вся линия славянофилов (он был *родоначальник* их) в самом деле сочинили какое-то «священное писание» в русской литературе, «естественно не читаемое»... Алтарей так мало, а площадей так много. Но все их «творения», довольно «вязкие в зубах», в самом деле исходят из необыкновенно высокого настроения души, из какого-то священного ее восторга, обращенного к русской земле, но не к ней одной, а и к иным вещам... Чего бы они ни касались, Европы, религии, христианства, язычества, античного мира, — везде речь их лилась золотом самого возвышенного строя мысли, самую страстного углубления в предмет, величайшей компетентности в суждениях о нем. Чего от них никогда не могло произойти, чего в линии их развития никогда не могло

появиться — это Д. И. Писарева. Ни его «Отрицания эстетики», ни его «мыслящих реалистов»... А это характерно. Дети всегда характерны для родителей.

* * *

От Киреевского пошли русские одиночки.... От Герцена пошла русская «общественность»... Пошло шумное, деятельное начало, немного «ветреное» начало... движущееся туда, сюда, всюду. У Герцена была шарообразная голова, «по-русски», и полные мягкие губы. И «общественное начало» у нас говорило и говорило. Говорило сочно, сладко, «заслушиваясь себя»... с успехом, какой всегда имел и Герцен. Впрочем, оно лет через 50 обмелело бы; даже раньше; если бы в помощь ему и отчасти чтобы сменить его и вытеснить не пришли семинаристы 60-х годов, с закалом суровым, дерзким и... жертвенным. Герцен был так талантлив и счастлив, что «жертвы» у него никак не получилось бы: между тем только на «жертве» построяется великое в истории. Замечательно, что когда пришли «семинаристы», по-видимому, «единомышленные» с ним, Герцен затосковал... Он увидел свой конец, свою смерть. Он был в порыве глубоко их отвергнуть, восстать на них: но не решился и — промолчал. Почему? Ведь он был так неизмеримо их талантливее, не говоря уже о просвещенности. «Друг Мадзини... друг Прудона». Тогда как Чернышевский был всего из Саратова, а Добролюбов из нижегородской бурсы. Отчего же он почувствовал себя вдруг слабым? Семинаристы, при всей их грубости и «незнании иностранных языков», сообщили всему движению закал и твердость стали: тогда как Герцен был только мягкое железо. Сталь может рубить железо, а железо — в какой бы массе ни было — не может перерезать самой тонкой пластинки стали. На всем протяжении неизмеримых сочинений Герцена, где столько блеска и роскоши, нет ни одной страницы трогательней и «хватящей за душу». Даже нет, в сущности, ни одной интимной страницы. Уж слишком не «священное писание»... Попахивает бульваром: ну, «бульваром» в июльские дни, когда Париж шумел, Людовика-Филиппа гнали и Гизо бежал в карете с грязным бельем. Но хоть и в «июльские дни», однако именно «бульваром»...

Ничего не подделаешь. Судьба. Та же «судьба», с горечью и сладостью в себе, дала Добролюбову много поесть черной каши и кислых щей, прежде чем он вышел в литературу. Да и таланта у него, как у Герцена, не было. У него была та «скромность», о которой спросил Киреевский у Герцена, и Герцен тогда ничего не понял. Скромность — и с ней «добродетель», качество немного Корейши. У семинаристов появилось чуть-чуть «священного же писания», с его жаром, с его верою, с его «торжественным настроением в душе». И — не «вязло в зубах». Вся Русь поняла и сразу оценила стих Добролюбова, — чуть ли не единственный стих, какой он написал, — не из шутливых:

Милый друг, я умираю
Оттого, что был я честен,
Но за то родному краю
Вечно буду я известен.

Милый друг, — я умираю,
Но спокоен я душою
И тебя благословляю, —
Шествуй тою же стезею.

Это просто как в самом деле завещание умирающего живым *родным людям*, — перед лицом которых и перед лицом гроба не приходит на ум ни вымысел, ни украшение. Одна простота. Одна правда. Одна суровость. Вот таких восьми строк во «всем» Герцене нет. На «родное» по-родному и отозвались. Вся Русь откликнулась на стих Добролюбову; больше: она вся встала перед ним. Когда на людном собрании «общества в память Герцена» (в Петербурге основалось года два назад) после двух-трех чтений о нем корифеев петербургского либерализма, европейского либерализма, я заговорил «и о Добролюбове», — я был остановлен пренебрежительным замечанием:

— Ну, можно ли сравнивать Добролюбова с Герценом... Добролюбов же был совсем не образован. А Герцен — европейский ум. Да и какой талант — разнообразие талантов!..

Произнесено было так уверенно, что я замолчал. Да, Добролюбов был беднее Герцена, как и Киреевский. Но в каком-то одном и чрезвычайно важном отношении он был

его и неизмеримо даровитее, тоже как Киреевский. Герцен весь рассыпался, разливался: но воды его «мелели» с каждым днем и каждой саженью движенья вперед. Ключ и Киреевского и Добролюбова бил из глубины, земли... Бил и не истощался и поил многих и многих... И пившие находили воду его свежую, вкусною и здоровою. В Герцене ни одной ниточки не было от Киреевского, но в Добролюбова вошла крошечным уголком, тоненькою ниточкою душа Киреевского. Это — любовь к родной земле, к дальней околице, к деревенской песне. Киреевскому было бы совершенно нечего конфузиться перед Добролюбовым; Добролюбов не мог бы почувствовать никакого негодования к Киреевскому. Хотя все их мирозерцание, все их идеалы — несоизмеримы, далеко, в сущности — враждебны. Но «Капля крови, общая с народом...»⁵ У них у обоих была».

Между славянофильством и радикализмом русским есть та же связь, как между часом бури и часом тишины *одного и того же дня*.

1911

Герцен

Н. А. Котляревский закончил в «Вестн[ике] Европы»¹ блестящий очерк «Общественные настроения 60-х годов», посвященный, собственно, одному Герцену. Работа — исчерпывающая, подводящая итоги; спокойная, уравновешенная; и все выводы, как и частные замечания, проф. Котляревского можно принять. Бесконечно интересно приведенное им письмо Б. Н. Чичерина к Герцену в пору издания «Колокола»; бесконечно жаль, что не отыскано письмо Добролюбова, написанное к тому же Герцену в ответ на его глумление и которое, вопреки обыкновению, Герцен не поместил в «Колоколе». Два эти письма, Чичерина и Добролюбова, как две «координаты», определяют или определили бы (если б письмо Д[обролюбо]ва отыскалось) «местоположение» Герцена в русской литературе и в русском политическом движении.

Центр воззрения Котляревского на Герцена — что это был «человек сороковых годов»; а вся плеяда писателей 40-х